

История — это интересно!
Серия

АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН

РАЗГАДАЙ МОСКВУ

Десять исторических
экскурсий
по российской столице



История – это интересно!

Александр Васькин

**Разгадай Москву. Десять
исторических экскурсий
по российской столице**

«Этерна»

2019

УДК 94(470-25)

ББК 63.3(2)

Васькин А. А.

Разгадай Москву. Десять исторических экскурсий по российской столице / А. А. Васькин — «Этерна», 2019 — (История – это интересно!)

ISBN 978-5-480-00401-4

Книга продолжает серию путеводителей по Москве от известного писателя и историка Александра Васькина. Две прежние книги автора – «Открывая Москву» и «Узнай Москву» – вызвали огромный читательский интерес. Новый труд Александра Васькина на этот раз посвящен десяти историческим экскурсиям по интереснейшим московским достопримечательностям, среди которых усадьба Льва Толстого в Хамовниках и древнейшее царское село Коломенское, легендарный ресторан «Арагви» и сталинская высотка гостиницы «Украина», Шуховская башня на Шаболовке и Ростокинский акведук, дворец графа Ростопчина на Большой Лубянке и палаты князя Голицына в Охотном ряду, дом Нирнзее в Гнездниках и Московская окружная железная дорога. Книга охватывает колоссальный временной масштаб развития Москвы – более десяти веков. Происхождение названий улиц и районов, судьбы их жителей (простых и великих), старинные легенды и были, анекдоты и факты, история строительства дворцов и усадеб, особняков и дорог, мостов и башен – все это причудливо и логично сплелось под одной обложкой. Откройте эту книгу, и вы получите ответы на многие загадки московской истории!

УДК 94(470-25)

ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-480-00401-4

© Васькин А. А., 2019

© Этерна, 2019

Содержание

1. Усадьба Льва Толстого в Хамовниках: от любви до ненависти	7
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Васькин

Разгадай Москву. Десять исторических экскурсий по российской столице

© А. А. Васькин, 2019

© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2019

* * *



1. Усадьба Льва Толстого в Хамовниках: от любви до ненависти

Откуда пошло название Хамовников – Храм Николы Чудотворца – Хамовники – свидетели отступления французской армии – «Москва есть зараженная клоака» – «Мне дом не нужен; покажите мне сад» – Толстой в роли прораба – Как научиться сапожному делу – Толстовство – Софья Андреевна в роли домашнего секретаря – «Только перепишешь, а он опять все перемарает!» – Куда уходят деньги – «...Если б Левочка не был так несчастлив в Москве» – Сложные отношения с детьми – Ванечка, последний и самый любимый сын – Лев Толстой как поклонник здорового образа жизни: вегетарианство, общество трезвости, велосипед и коньки – Гости в Хамовниках: Бунин, американская переводчица и другие – Путешествия Толстого по Москве и его общественная деятельность – «Воскресение» – Прощание с Хамовниками – «Два царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой» – Создание музея Льва Толстого – Попытка поджога – Бомбежка 1941 года

Хамовники – какое замечательное московское слово! В древней Хамовнической слободе в 1882 году приобрел дом Лев Толстой, чтобы провести здесь без малого два десятка лет. С Хамовниками связан наиболее драматичный период творческой и личной жизни писателя.

Откуда пошло такое название – Хамовники? Предположения высказываются разные. Якобы давным-давно здесь стоял двор крымского хана, у стен которого торговали маленькими зверьками – «хамами». Что это были за звери и на кого они похожи, неясно и сегодня. Есть и более поздняя гипотеза, согласно которой слово «хамовники» произошло от голландского слова *ham* – рубашка, белье. Да и у других соседних народов тоже есть похожие слова: например, у шведов (*ham* – рубашка), финнов (*hame* – белье, сорочка). Наводнившие в XVII веке Москву иноземцы обучали ткачей своему ремеслу, возможно, от них и осталось такое название. Ходило даже такое выражение – продать «хаму три локти». Вот почему версия эта кажется более правдоподобной – ведь слобода могла называться и Ткацкой.

Жители слободы занимались хамовным промыслом или, как говаривали в те времена, «белой казней». Обретавшиеся в слободе ткачи, полотнянщики, скатерщики изготавливали для царского двора различные ткани и материи (льняные и конопляные), скатерти и прочее. Интересно, что «государево хамовное дело» было одним из наиболее старых в Москве и из всех казенных мануфактур отличалось наибольшим размахом. В Замоскворечье была еще Кадашевская слобода, также поставлявшая в казну ткань, но более тонких, дорогих сортов, чем Хамовническая.

Слобода эта была переведена в Москву из Твери, поэтому в «Переписной книге города Москвы 1638 года» она именуется как слобода Тверская Хамовная, у церкви Николы Чудотворца. Насчитывалось в ней на тот момент 65 «тяглых дворов», четыре «вдовьих двора», три «пустых двора», да еще и «двор попа», «двор дьякона» и «двор нищего». Деревянная церковь Николы, что упомянута в переписи, выстроена была еще в 1624 году на деньги хамовников.

Почему храм освятили в честь Николы? Любили московские жители этого православного святого, так много стояло храмов Николы в Москве, что заморские гости в своих записках называли москвитов «николаитами». Позднее, в конце XVII века, был сооружен и каменный храм Николы Чудотворца, сохранившийся до нашего времени. Стоит он в самом начале бывшего Долгохамовнического переуллка (сегодня ул. Льва Толстого, д. 2), притягивая взоры своим удивительным и красочным обликом. Конечно, Лев Толстой не мог не бывать здесь, он являлся прихожанином этого храма и увековечил его в своих произведениях.

Первое упоминание о деревянном храме относится к 1625 году. В 1657-м он был уже каменный, а в 1677 году храм именовали как «церковь Николая Чудотворца у митрополичьих конюшен». Ныне существующая церковь заложена несколько в стороне от первоначальной в 1679 году при царе Федоре Алексеевиче, освящение основного храма состоялось в 1682 году. Одностолпная трапезная палата с приделами и колокольня были пристроены позднее. Церковь пострадала в 1812 году – был частично разрушен ее интерьер, который восстановили к 1849 году. В 1845 году храм был расписан, а в начале XIX века возведены ограда и ворота. Храм реставрировался в 1896, 1949 и 1972 годах. В 1992 году на колокольню водрузили колокол весом в 108 пудов.

Еще один свидетель тех давних времен – Хамовный двор (ул. Льва Толстого, д. 10, стр. 2), государственная текстильная мануфактура, действовавшая здесь в XVII веке, палаты Хамовного двора реставрировались в 1970-х годах. Трудились государевы хамовники нередко на дому, а в 1709 году в Хамовниках была открыта полотняная казенная фабрика, разросшаяся в 1718–1720 годах до полотняной мануфактуры. А тем временем росло население слободы, но не за счет хамовников, а по причине привлекательности этой земли для московской знати. Начиная с XVII века здесь строятся загородные дачи с обширными садами и огородами. Представители столичной аристократии уже не помещались в границах Земляного города. Один из таких служивых людей и владел землей, на которой стоит теперь усадьба Толстого. В конце XVII века хозяином здесь был стряпчий, а затем стольник Венедикт Яковлевич Хитрово (стряпчий – судебный чиновник, доверенное лицо в суде; стольник – придворный смотритель за царским столом). А соседями его были Голицыны, Лопухины, Урусовы... Фамилии владельцев хамовнической недвижимости – Олсуфьева, Оболенского, Пуговишников – сохранились до сих пор в названиях близлежащих переулков.

Любопытны аналогии с сегодняшним временем: «...а ныне около Москвы животинных выпусков не стало, потому их заняли бояре и ближние люди и Московские дворяне и дьяки под загородные дворы и огороды, а монастыри и ямщики те животинные выпуски распахали в пашню...» – говорится в челобитной 1648 года на имя царя Алексея Михайловича. В тот год власти вынуждены были ограничить столь бурное увеличение строительства загородной недвижимости, в том числе и в Хамовниках. В конце XVIII века Хамовническая слобода занимала район между Зубовским бульваром, Большой Пироговской улицей, Москвой-рекой и болотами близ стен Новодевичьего монастыря.

Перед тем как принять семью Толстых, усадьба побывала в руках у дюжины владельцев. История главного дома начинается с начала XIX века, когда усадьбой распоряжался князь Иван Сергеевич Мещерский. При нем, очевидно, в 1805–1806 годах и был построен дом.

С 1811 по 1829 год хозяевами здесь числились Масловы – отец, «действительный камергер» Иван Николаевич, а затем и сын, «гвардии капитан» Алексей Иванович. При Масловых усадьба пережила Отечественную войну 1812 года. В тот год, когда пожар не пощадил Москву, спалив три четверти ее домовладений, Хамовники стали свидетелями отступления французской армии, уводившей за собой и пленных русских. «По переулкам Хамовников пленные шли одни со своим конвоем, повозками и фурами, принадлежавшими конвойным и ехавшими сзади... Проходя через Хамовники (один из немногих негоревших кварталов Москвы) мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне, и слышались восклицания ужаса и омерзения. “– Ишь мерзавцы! То-то нехристы! Да мертвый, мертвый и есть... Вымазали чем-то”. Пьер тоже подвинулся к церкви, у которой было то, что вызвало восклицания, и смутно увидел что-то прислоненное к ограде церкви (...) Это что-то – был труп человека, поставленный стоймя у ограды и вымазанный в лице сажей», – читаем мы в романе «Война и мир» об отступлении из Москвы французов с пленными 7 октября 1812 года, среди которых был и Пьер Безухов.

От всепоглощающего московского пожара усадьбу, как и прочие дома Хамовников, уберегло желание французов найти для себя зимние квартиры, впрочем так им и не понадобившиеся. Но они все же успели здесь освоиться. На Девичьем поле в доме Нарышкиной стоял штаб маршала Даву, в дом Всеволожского водворился генерал Компан, а типография Всеволожского превратилась в «Императорскую типографию Великой армии».

С 1832 года дом «зачислен за Авдотьей Новосильцевой», которая владела им до 1837 года, когда усадьба перешла в новые руки: «зачислен дом сей за майоршею Анною Николаевною Новосильцевою». С 1842 года зданием владела дочь ассессора Елизавета Похвистнева, затем в 1858 году, после смерти ее, усадьба переходит по наследству к ее двоюродному племяннику штабс-капитану Николаю Васильевичу Максимову. В 1867 году Максимов продал дом А. В. Ячницкому за 10 тысяч рублей, у которого, в свою очередь, его в 1874 году купил коллежский секретарь Иван Александрович Арнаут. У Арнаутова Толстой и приобрел дом в Долгохамовническом переулке.



Долгохамовнический переулоч, 1900-е годы

Покупке предшествовали поиски нового жилья, которыми писатель занимался в конце апреля – начале мая 1882 года. Сему предшествовал разговор с супругой, которой он заявил: «Москва есть... зараженная клоака», потребовав от Софьи Андреевны согласия на то, что больше они в Москве жить не будут. Прошло несколько дней, и Лев Николаевич, по ее словам, «вдруг стремительно бросился искать по всем улицам и переулкам дом или квартиру». «Вот и пойми тут что-нибудь самый мудрый философ», – сетовала на непоследовательность мужа Софья Андреевна в письме к сестре от 2 мая 1882 года.

Лев Николаевич придавал огромное значение выбору дома. Ведь особняк Волконского в Денежном переулке (д. 3, не сохранился), в котором они жили с осени 1881 до весны 1882 года, его не устраивал, да и не одного его. Дом был «весь как карточный, так шумен, и потому ни нам в спальне, ни Левочке в кабинете нет никогда покоя», – жаловалась супруга писателя.

Но дело было не только в конкретном адресе, сам переезд Толстого в город негативно отражался на его мировосприятии и самочувствии. Москва ему представлялась Содомом и Гоморрой: «Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют», – писал он 5 октября 1881 года.

«Я с ума сойду, – изливала душу Софья Андреевна своей сестре 14 октября 1881 года. – Первые две недели Левочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам *a la letter* (буквально – с фр.) плакал иногда». Толстому требовалось

удинение, его он ищет вне дома, уходя на Девичье поле, на Воробьевы горы, где пилит и колет дрова с мужиками. Только там «ему и здорово, и весело».

Но как ни раздражала Льва Николаевича городская жизнь, семейные заботы вынуждали его думать о том, как получше обосноваться в Москве. И, обозвав Москву клоакой, он тем не менее заставил себя в этой клоаке остаться. «Мы не отдавали себе тогда отчета, какой это было для него жертвой, принесенной ради семьи», – писала уже гораздо позднее дочь Толстого Татьяна Львовна.

А семья была большая и в самом деле требовала подобной жертвы. Девятнадцатилетнему старшему сыну Сергею нужно было продолжать учебу в Московском университете, Льву (13 лет) и Илье (16 лет) – в гимназии Поливанова на Пречистенке, семнадцатилетней старшей дочери Татьяне – в Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой. А еще были Мария (1871 г.р.), Андрей (1877), Михаил (1879) и самый маленький – Алексей (1881). И всех нужно было воспитывать, образовывать. Дом требовался большой, удобный, с подсобной территорией, чтобы Льву Николаевичу можно было бы пилить и колоть дрова прямо во дворе. И такой дом нашелся, объявление о его продаже прочитал в газете московский приятель Толстого М. П. Щепкин.

В один из тех удивительных майских дней 1882 года, когда природа неистовствует свежей зеленью и яркими красками распускающихся цветов, на пороге усадьбы в Долгохамовническом переулке появилась фигура «в поношенном пальто и в порыжелой шляпе». Это пришел по объявлению Лев Николаевич. Заявился он под вечер, и на сожаление владелицы дома Т. Г. Арнаутовой о том, что уже темнеет и не удастся как следует осмотреть дом, Толстой ответил: «Мне дом не нужен – покажите мне сад». При этом он не представился.



Усадьба в Хамовниках

Толстому показали то, что он хотел увидеть. Кущи фруктовых деревьев и ягодных кустов, столетняя липовая аллея, расположенная буквой «Г», курган, окруженный тропинками, коло-

дец с родниковой водой, беседка, цветочная клумба. «Густо, как в тайге», – подытожил неназванный гость. А сам дом стоял на отшибе этой «тайги», окнами на дорогу. И не было в нем никаких чудес цивилизации – электричества, водопровода, канализации.

В последующие дни Лев Николаевич не раз приходил сюда в сопровождении детей и жены. Чем приглянулась усадьба, «более похожая на деревенскую, чем на городскую», взыскательному взгляду Толстого? Ему «нравилось уединенное положение этого дома и его запущенный сад размером почти в целую десятину. К этому саду прилегал большой восьмидесятинный сад Олсуфьевых, так что из окон арнаутовского дома были видны не крыши и стены соседних домов, а только деревья, кусты и глухая стена пивоваренного завода. Владение было похоже на помещичью усадьбу. Густой сад произвел на нас самое приятное впечатление; там было много цветущих кустов, яблонь и вишневых деревьев; листья на деревьях недавно распустились и блестели свежей зеленью», – припоминал Сергей Толстой, вместе с отцом оглядывавший дом.

При осмотре дома Толстой заметил, что яблони, растущие вдоль стены пивоваренного завода, будут «великолепно развиваться именно на этом припеке». Арнауты не преминули продемонстрировать потенциальному покупателю и его семье подтверждение того факта, что дом был построен еще до московского пожара, году этак в 1806-м, и не сгорел в 1812-м. Он оторвал несколько досок с обшивки здания и, ударив звенящим топором по бревнам сруба, продемонстрировал, что бревна настолько крепкие, будто «окостенели».

Горячее желание продать дом подвернувшемуся покупателю владело Арнаутовым. Еще бы, ведь всех, кто приходил до Толстого, отпугивало неудачное окружение усадьбы: напротив стояла фабрика шелковых изделий, принадлежавшая французским капиталистам братьям Жиро, а рядом – пивоваренный завод, стена которого граничила с садом. Завод создавал неприятную, как сегодня сказали бы, экологическую обстановку: летом жидкие отбросы пивоварни во время дождя владелец завода сбрасывал прямо на мостовую, и все это текло по Долгохамовническому переулку. Но Толстого эти подробности мало интересовали, главное – заросший сад!

Если оперировать современными терминами, то можно сказать, что Толстой прикупил дом в промзоне. И в самом деле – кругом заводы и фабрики, построенные настолько капитально, что сохранились до нашего времени, к тому же в соседней усадьбе Олсуфьевых в конце 1880-х годов Варвара Морозова учредила психиатрическую клинику, в которую пососедски заглядывал Лев Николаевич. Сегодня территория усадьбы больше напоминает колодец, окруженный с трех сторон массивными непроходимыми преградами.

Стоит ли говорить, как обрадовались Толстому Арнаутовы. Близкая и дальняя родня, также обрадованная, что Льву Николаевичу, еще недавно хотевшему бежать из ненавистой Москвы, теперь вдруг хоть что-то понравилось, спешила отозваться: «Роз больше, чем в садах Гафиза; клубники и крыжовника бездна. Яблонь дерев с десять, вишен будет штук 30, 2 сливы, много кустов малины и даже несколько барбариса. Вода – тут же, чуть ли не лучше Мытищинской. А воздух, а тишина. И это посреди столичного столпотворения. Нельзя не купить», – одобрял решение Толстого дядя Софьи Андреевны, К. А. Иславин.

Приняв решение о покупке дома Арнаутова, 27 мая 1882 года Толстой уезжает в Ясную Поляну, размышляя о том, как перестроить здание, приспособив его для своей разросшейся семьи и не менее многочисленной прислуги. «Дом, в том виде, в котором он был куплен, был мал для нашей семьи, и отец решил сделать к нему пристройку, к чему и приступил немедленно, пригласив архитектора. Нижний этаж и антресоли остались в прежнем виде, а над первым этажом были выстроены три высокие комнаты с паркетными полами, довольно просторный зал, гостиная и за гостиной небольшая комната (диванная) и парадная лестница. Для своего кабинета отец выбрал одну из комнат антресолей с низким потолком и окнами в сад. Отец следил за еще не оконченными плотницкими и штукатурными работами, за оклейкой

стен обоями, за окраской дверей и рам, покупал мебель на Сухаревском рынке», – писал Сергей Толстой. Архитектор, упоминаемый С. Толстым, – М. И. Никифоров.

Но всю мебель не пришлось покупать. Часть обстановки перевезли в новый дом с прежней квартиры. Кое-что Толстой прикупил у Арнаутова. «Я старину люблю», – сказал он бывшему владельцу, показывая на гарнитур из красного дерева. В занимающем почти две страницы перечне предметов обстановки главного дома, составленном в 1890 году Софьей Андреевной со свойственной ей педантичностью, встречаются и «24 легких стула красного дерева, 6 кресел красного дерева, 2 дивана красного дерева, 1 обеденный раздвижной стол красного дерева, 3 стола красного дерева – маленьких» и многое другое.

Фактом, удостоверяющим перестройку дома, служит прошение, поданное бывшим хозяином в Московскую городскую управу: «Покорнейше прошу (...) разрешить мне произвести в принадлежащем мне доме, состоящем Хамовнической части, 1 участка, по Долго-Хамовническому переулку под № 15, ремонтные работы в зданиях, а именно: подвести новые венцы №№ 1, 3, 5, 6 и 4, исправить печи, потолки и крыши. 1882 года июля 2 дня. Коллежский секретарь И. Арнаутов». Покупатель и продавец сошлись на сумме в 27 тысяч рублей, уплаченной Толстым в несколько приемов. Эпопея с перестройкой «Арнаутовки», как нарекли усадьбу Толстые, длилась все лето и обошлась новому хозяину еще в 10 тысяч. Документы гласят, что на территории усадьбы были снесены: сарай, выходящий фасадом на улицу (в левом углу владения), левая пристройка главного дома с его жилой и нежилой частями и оба крыльца дома. А вот садовые беседка и будка, два колодца, две помойки и все крупные постройки остались на своих местах.

С 10 по 20 сентября и с 28 сентября по 10 октября 1882 года Толстой проводит в Москве, неотрывно занимаясь руководством ремонтом дома. По сути, Лев Николаевич взял на себя обязанности прораба, что следует из его письма к супруге от 12 сентября: «Нынче все могу написать обстоятельно. Архитектор вчера к ужасу моему объявил, что до 1-го октября он просит не переезжать. Ради бога не ужасайся и не отчаивайся. К 1-му он ручается, да я и сам вижу, что все будет готово так, что можно будет жить удобно. Предложу тебе прежде мой план нашей жизни в эти две недели с половиной, а потом напишу подробности. План такой: я пробуду здесь до конца недели, перевезу мебель вниз, в сарай и приму Илюшу, которого ты приплешь ко мне, если он окреп, и налажу его в гимназии и побуду с ним, и приеду к вам 2-го. Пробуду с вами неделю и или опять уеду через неделю, дня за 4 до вас или с вами. Так ты не будешь скучать долго, и Илюша пробудет без нас не долго. Дом вот в каком положении: ко вторнику будут готовы 4 комнаты: мальчикова, столовая, Танина и спальная. Они оклеены, только не докрашены двери и подоконники. В них я поставлю всю мебель хорошую; похуже в сарай. Остальные три комнаты внизу не готовы, потому что в них начали красить пол. Я остановил краску – они загрунтованы (желтые, светлые), и я решил так и оставить. Согласна ты? Комнаты эти и передняя дня через три тоже будут готовы. Штукатурная работа вчера кончена, последняя в доме. Штукатурить остается кухню. Это дня на три. В больших комнатах штукатурка почти просохла; сыра она, и дольше всего будет сыра в верхнем коридоре. Я там велел топить жарче. Лестницу начнут ставить завтра. Она вся сделана, только собрать и поставить. То же и с паркетом. Он готов, и завтра начнут стелить. Ватер-клозеты еще не совсем готовы, крыльца, в передней пол. Верхние комнаты старые и девичья не оклеены. Я велел все белить. Согласна? Пол в передней архитектор советует обтянуть солдатским сукном и лестницу не красить. Площадку и лестницу, и стены не оклеивать, а выкрасить белой краской. Вообще дом выходит очень хорош. А уж покой – чудо. Мне выходить из флигеля не хочется, – так тихо, хорошо, деревья шумят... Целую тебя, душенька, будь покойна и любовна, особенно ко мне. Детей целую».



Двор усадьбы

«Я рада, что всем занимаешься ты, а не я; мне от этого так легко», – отвечала Софья Андреевна 14 сентября, выражая свою искреннюю радость от захвативших супруга забот по переустройству их нового семейного гнезда. В ее глазах Лев Николаевич буквально преобразился.

8 октября 1882 года Толстые наконец-то вселились в собственную усадьбу в Долгохамовническом переулке. Прodelанная главой семейства работа была оценена одним словом: «Чудесно!» «Мы приехали в Арнаутовку вечером... Первое впечатление было самое великолепное, – везде светло, просторно, и во всем видно, что папа все обдумал и старался все устроить как можно лучше, чего он вполне достиг. Я была очень тронута его заботой о нас, и это тем более мило, что это на него не похоже. Наш дом чудесный. Я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно было бы обратить внимание. А уж моя комната в сад – восхищение!» – отмечала дочь Татьяна в первые дни жизни в новом доме, все шестнадцать комнат которого готовы были принять своих постояльцев.

Хлопотливое дело размещения в новом пристанище всех десяти домочадцев и прислуги разрешилось не за день и не за два. Всех поселили по плану нового главного дома, согласно которому на нижнем этаже были передняя, столовая, комната старших сыновей, детская с няней, комнаты гувернантки и девиц. На втором этаже – зал, гостиная, спальня Софьи Андреевны и Льва Николаевича, его кабинет и рабочая комната, лакейская комната, комнаты экономки и двух дочерей. Вместе с господами в доме поселились буфетчик, лакей, экономка, няня и две горничных, из которых одна была и домашней портнихой. При детях проживали постоянно гувернантка и гувернер.

Другая часть прислуги размещалась в остальных постройках усадьбы. Так, в кухне жили повар, готовивший на всю семью, и людская кухарка, стряпавшая на всех слуг. В сторожке у ворот обретались кучер и два дворника – старший и младший. Прислугу нанимать в Москве не стали, а взяли с собой из Ясной Поляны. Поэтому, когда каждое лето семья Толстых отъезжала в родную Тульскую губернию, усадьба в Хамовниках пустела – слуг брали с собой.

На первом этаже флигеля усадьбы устроилась «Контора изданий» С. А. Толстой, которой ведал артельщик М. Н. Румянцев, проживавший много лет со своей семьей рядом с конторой – внизу (верх флигеля часто сдавался в аренду под жилье квартирантам). Склад книг Софья Андреевна устроила в левой части старого сарая, середину которого занимал каретник, а правую часть три лошади и одна корова.

Как протекала жизнь Льва Толстого в его хамовническом доме? Помимо, собственно, творчества, он не изменял и любимым привычкам. И размеры усадьбы этому способствовали. Теперь ему не надо было отправляться на Девичье поле или Воробьевы горы, чтобы следовать выработанному для себя принципу: «Одно из самых худших зол человека – недостаток физической работы». Дрова он колол обычно по утрам в сарае (поскольку случалось это зимою), затем носил их через черный ход дома к печке своего кабинета (в кабинет Толстого можно было пройти через особый, так называемый черный ход). «Много работаю руками и спиной в Москве. Вожу воду, колю, пилю дрова. Ложусь и встаю рано, и мне одиноко, но хорошо», – писал он В. Г. Черткову в 1885 году. Из садового колодца зимой на санках, а осенью на тележке писатель возил воду в десятиведерной бочке для хозяйственных нужд. Софья Андреевна рассказывала сестре: «Встанет в семь часов, темно. Качает на весь дом воду, везет огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова и колет и складывает в сажень. Белый хлеб не ест; никуда, положительно, не ходит». Француженка Анна Сейрон, гувернантка, рассказывала, что, когда в колодце не оказалось воды, Толстой, «бедно одетый, подобно всем прочим водовозам», спустился «к самой Москве-реке. Он употребил на этот путь целый час и вернулся домой смертельно утомленный».

Толстой расширяет свои познания в ремеслах. Уже несколько лет лелеет он надежду научиться шить сапоги. Учитель его детей В. И. Алексеев, появившийся в Ясной Поляне в 1877 году, рассказывал, что Толстой признавался ему в «зависти» к его способности к сапожному делу.

Он учится сапожному делу у запомнившегося его сыну Илье «скромного чернобородого человека», приходившего регулярно к писателю, который «накупил инструментов, товару и в своей маленькой комнатке, рядом с кабинетом, устроил себе верстак». Сапожник садился рядом с Львом Николаевичем «на низеньких табуретках, и начиналась работа: всучивание щетинки, тачание, выколачивание задника, прибивание подошвы, набор каблука и т. д.», «научившись шить простые сапоги, отец начал уже фантазировать: шил ботинки и, наконец, брезентовые летние башмаки с кожаными наконечниками, в которых ходил сам целое лето».

Однажды «заказывать сапоги» к Толстому пришел Афанасий Фет. Заказ был выполнен Львом Николаевичем собственноручно. Фет, заплатив Толстому шесть рублей, сочинил следующее «удостоверение»: «Сие дано 1885-го года Января 15-го дня, в том, что настоящая пара ботинок на толстых подошвах, невысоких каблуках и с округлыми носками, сшита по заказу моему для меня же автором “Войны и мира” графом Львом Николаевичем Толстым, каковую он и принес ко мне вечером 8-го января сего года и получил за нее с меня 6 рублей. В доказательство полной целесообразности работы я начал носить эти ботинки со следующего дня. Действительность всего сказанного удостоверяю подписью моей с приложением герба моей печати. А. Шеншин¹».

¹ В 1873 году Фет официально вернул себе фамилию Шеншин, но литературные произведения и переводы продолжал подписывать фамилией Фет. – *Здесь и далее прим. ред.*



В Хамовниках писатель увлекся сапожным ремеслом

Помимо сапожного дела, Толстой решил обучиться древнееврейскому языку, для чего уже в октябре 1882 года позвал к себе раввина Соломона Минора. В это время граф принялся изучать Библию и Талмуд. Жена сего занятия не одобрила. Совмещая столько разных занятий, писатель строго следовал выработанной им формуле «четырех упряжек»: «Лучше всего бы было чередовать занятия дня так, чтобы упражнять все четыре способности человека и самому производить все четыре рода блага, которыми пользуются люди, так, чтобы одна часть дня – первая упряжка – была посвящена тяжелому труду, другая – умственному, третья – ремесленному и четвертая – общению с людьми».

Не случайно, что переезд в Москву совпал с пересмотром жизненных ценностей Толстого. Переоценка мировоззрения в итоге привела к появлению нового религиозного учения – толстовства, нашедшего немало сторонников. Это новое христианское учение должно было, по мысли Льва Николаевича, объединить людей идеями любви и всепрощения. Он стал активно проповедовать непротивление злу насилием, считая единственно разумными средствами борьбы со злом его публичное обличение и пассивное неповиновение властям. Путь к грядущему обновлению человека и человечества он видел в индивидуальной духовной работе и нравственном усовершенствовании личности, что и стал осуществлять на собственном примере.

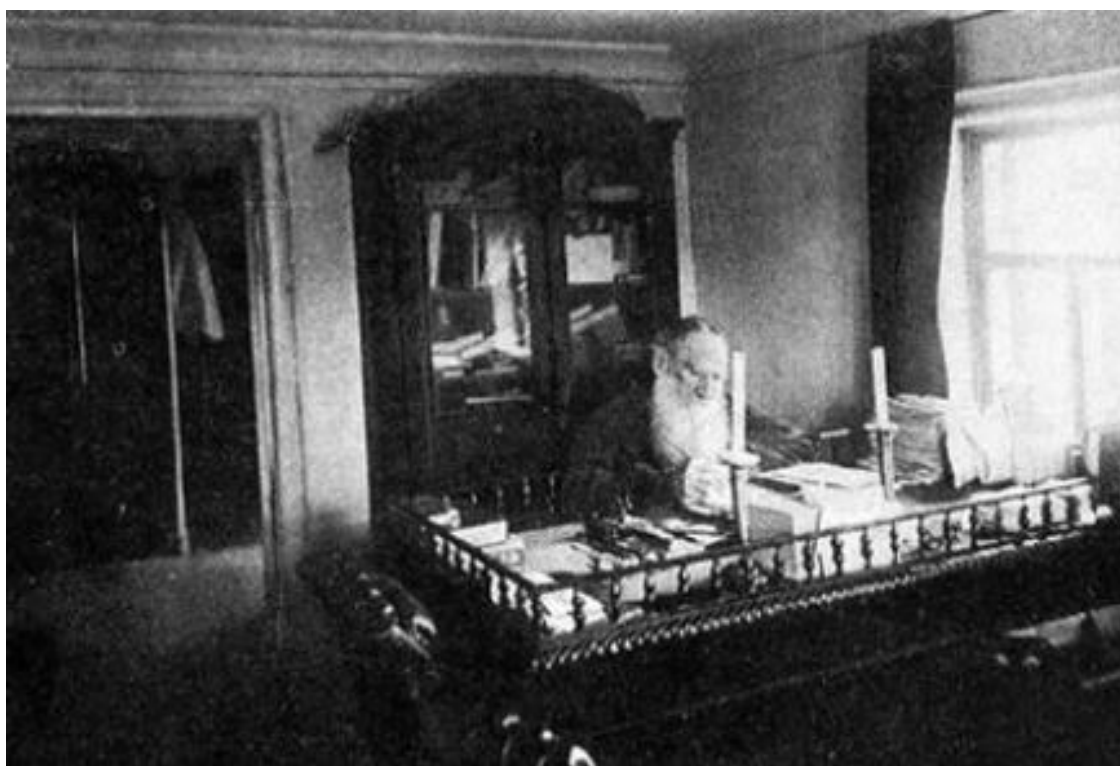
Неприемлемая для Толстого московская среда во многом способствовала пришедшему к нему озарению, что все, что он делал и писал до этого, во многом было бесполезным. На творчестве это отразилось в первую очередь. Он стал писать «что нужно», а не что хочется. «Хочется писать другое, но чувствую, что должен работать над этим... Если кончу, то в награду займусь тем, что начато и хочется». «Что нужно» – это статьи и трактаты философско-религиозного содержания. «В награду» – роман «Воскресение» и повести.

Как подсчитали биографы Толстого, в Хамовниках он создал около шестидесяти произведений из сотни написанных в Москве. Среди них – «О переписи в Москве» (1882), «В чем моя вера» (1883–1884), «Так что же нам делать?» (1884–1886), «Сказка об Иване-дураке» (1886), «Записки сумасшедшего» (1884), «Смерть Ивана Ильича» (1884–1886),

«Власть тьмы» (1886), «О жизни» (1886–1887), «Плоды просвещения» (1889), «Крейцера соната» (1889), «Воскресение» (1889–1899) и другие.

Работал он истово, не жалея ни себя, ни других – тех, кому предстояло неоднократно переписывать его сочинения. «Я не понимаю, как можно писать и не переделывать все множество раз», – говорил он. Писал Толстой обычно на дешевой бумаге размером в одну четвертую листа, крупным «веревочным» почерком. За день набиралось до двадцати страниц. Если бумага кончалась, то он продолжал строчить на том, что имелось под рукой, – на счетах, на письмах и т. п. Часто за работой разговаривал сам с собою.

Как и в Ясной Поляне, сидел он на низком стуле, ножки которого были укорочены – чтобы ему было лучше видно, так как Лев Николаевич, будучи близоруким, очков не носил. Судя по всему, писать, сидя на таком стуле, было не очень удобно, ведь роста Толстой был высокого. Иногда после долгих часов сидения за столом он вставал и подходил к пюпитру, ставя его к окну, продолжал писать на нем. Любил писать при одной свече.



Лев Толстой в кабинете за столом

А потом... «Только перепишешь все – опять перемарает, и опять снова», – стонала Софья Андреевна. Но если в прошлые десятилетия переписка по несколько раз «Войны и мира» составляла для нее трудность чисто физическую (объем-то какой!), то теперь появились трудности иного рода. Она была не согласна с тем, что переписывает: «Я не могу полюбить эти не художественные, а тенденциозные и религиозные статьи: они меня оскорбляют и разрушают во мне что-то, производя бесплодную тревогу».

Богато ли жили Толстые в Хамовниках? Жили в достатке, и во многом благодаря опять же Софье Андреевне. Чтобы кормить большую семью и содержать многочисленную челядь, нужны были деньги. Мы не зря при описании усадьбы упомянули о «Конторе изданий». Издательское дело Софьи Андреевны и литературный гонорар за печатаемые произведения Л. Н. Толстого на стороне обеспечивали неплохой доход – от пятнадцати до восемнадцати тысяч рублей в год. Но этого тоже не хватало. Москва – не Ясная Поляна.

В 1886 году самыми крупными статьями расхода из общей суммы 22 539 рублей были: издание полного собрания сочинений Л. Н. Толстого – 5138 р. 12 коп.; на питание семьи и дворни зимой в Москве и летом в Ясной Поляне – 3120 руб. 51 коп.; на жалованье учителям и слугам – 2057 р. 38 коп.; на одежду семье и части слуг – 1702 р. 01 к.; на карманные – личные расходы детям – 804 р. 57 коп.; на разъезды семьи и слуг – 725 р. 52 коп.; на медицину и санитарию – 767 р. 90 к.; на покупку и ремонт хозяйственного инвентаря и мебели – 754 р. 88 коп.

В Москве деньги «тают не по дням, а по часам», жаловалась Софья Андреевна в письме от 23 октября 1884 года. «Расходы в Москве при самой усиленной экономии так велики, что просто беда, в ужас приводят всякий день». В ответ на этот крик души Толстой утешает супругу: «А если нужны будут деньги, то поверь, что найдутся (к несчастью). Можно продать мои сочинения (они верно выйдут нынешний год); можно продать “Азбуки”, можно лес начать продавать. К несчастью, деньги есть и будут, и есть охотники проживать чужие труды».

До сего момента Толстой продавал издателям авторское право на издание своих произведений. Даже издание и распространение «Азбуки», о которой он пишет жене, он поручил мужу своей племянницы Н. М. Нагорнову. Отныне Софья Андреевна, имевшая доверенность Льва Николаевича на ведение всех его имущественных дел, сама будет заниматься изданием сочинений Толстого. Правда, в 1891 году Лев Николаевич преподнес еще один сюрприз, отказавшись от авторских прав (и отчислений от их использования) на все, что написал после 1881 года, то есть на произведения, сочиненные в Хамовниках.

«Большое, сложное хозяйство целого имения почти все на ее руках, – хвалил Софью Андреевну И. Е. Репин. – Высокая, стройная, красивая, полная женщина с черными энергичными глазами, она вечно в хлопотах, всегда за делом... Вся издательская работа трудов мужа, корректуры, типографии, денежные расчеты – все в ее исключительном ведении. Детей она обшивает сама... всегда бодрая, веселая, графиня нисколько не тяготится трудом».

Софья Андреевна занималась домом не формально, не по доверенности, а искренне желая доставить радость всем членам семьи, прежде всего мужу. Ведь во многом моральный климат в доме зависел от того, в каком расположении духа находился Лев Николаевич: «Жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если б Левочка не был так не счастлив в Москве», – признавалась она в 1882 году.

Полюбил ли Толстой свой дом в Хамовниках? Вопрос сложный. Например, как следует из написанного им здесь трактата «Так что же нам делать?», эта усадьба представлялась ему чуть ли не единственным лучом света в темном царстве Хамовников: «Я живу среди фабрик. Каждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков. В 8 часов другой свисток – это полчаса передышки; в 12 третий – это час на обед, и в 8 четвертый – это шаш. По странной случайности, кроме ближайшего ко мне пивного завода, все три фабрики, находящиеся около меня, производят только предметы, нужные для балов. На одной ближайшей фабрике делают только чулки, на другой – шелковые материи, на третьей – духи и помаду, первый свисток – в 5 часов утра – значит то, что люди, часто вповалку – мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи с самыми короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд. Засыпают, и опять поднимаются, и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них работу, к которой они принуждены только нуждой.

Так я ходил, смотрел на этих фабричных, пока они возились по улицам, часов до 11. Потом движение их стало затихать. И вот показались со всех сторон кареты, в карете дамы, закутанные в ретонды и оберегающие цветы и прически. Все, начиная от сбруи на лошадях, кареты, гуттаперчевых колес, сукна на кафтане кучера до чулок, башмаков, цветов, бархата,

перчаток, духов, – все это сделано теми людьми, которые частью пьяные завалились на своих нарах в спальнях, частью в ночлежных домах. Вот мимо их во всем ихнем и на всем ихнем едут посетители бала, и им и в голову не приходит, что есть какая-нибудь связь между тем балом, на который они собираются, и этими пьяными, на которых строго кричат их кучера».

Но ведь Лев Николаевич сам выбрал этот дом «среди фабрик», в захолустном предместье. И Москва не вся состояла из сырых подвалов и ночлежек с живущими в них мужчинами и женщинами, спящими вповалку. Уже в то время появляются фабриканты другого рода, подобные Варваре Морозовой, Прохоровым и многим другим, относящимся к рабочим почеловечески. Они открывают для них амбулатории, детские сады, улучшают условия жизни. Складывается ощущение, что Толстой сам хотел видеть Москву именно такой – угнетающей, ужасной и безысходной.

Учитывая, с каким усилием Лев Николаевич заставил себя поселиться в Москве, какую публичную жертву он принес самим фактом покупки дома, пускай и с садом (уже этим показывая, что городской дом для него особого значения не имеет), трудно было бы ждать от него какого-либо расположения к Хамовникам. Он жил здесь через силу. С каждым годом Толстой все чаще подчеркивает в письмах и разговорах с родными и близкими (и не очень близкими), что уже каждый приезд его в Москву – большое благодеяние с его стороны. Приезжать в Москву ему не хочется, а что делать – ведь семья-то едет!

Гораздо охотнее ранней весной он «бежит в широкошумные дубравы» Ясной Поляны и уже с меньшим желанием возвращается в конце осени в Хамовники, чтобы провести здесь зиму. Нередко среди зимы он уезжает под Дмитров, в Никольское-Обольяниново, где живет его друг граф Олсуфьев, как случилось, например, в 1885 и 1887 годах. Он едет туда «отдыхать от московской суеты», повод отдохнуть есть – Толстой все чаще замечает за собою, что «к весне способность умственной работы перемежается, и становится тяжелее».

Например, когда в октябре 1885 года семья выехала в Москву, Толстой остался в Ясной Поляне работать над трактатом «Так что же нам делать?». Иного занятия для него не существовало, чего он и не скрывает от жены: «Все те дела или, по крайней мере, большинство их, которые тебя тревожат, как-то: учение детей, их успехи, денежные дела, книжные даже, все эти дела мне представляются ненужными и излишними... Искорени свою досаду на меня за то, что я остался здесь и не приезжаю еще в Москву. Присутствие мое в Москве, в семье почти что бесполезно; условность тамошней жизни парализует меня, а жизнь тамошняя очень мне противна опять по тем же общим причинам моего взгляда на жизнь, которого я изменить не могу, и менее там я могу работать». Вот почему совершенно уместными кажутся слова его дочери Татьяны, написавшей в октябре 1882 года, что ее удивила забота, проявленная отцом обо всей семье, и что это «тем более мило, что это на него не похоже» (эта последняя фраза в советское время вымарывалась). Когда в ноябре 1885 года Толстой был все же вынужден отправиться в Москву, уезжать ему было «тяжело», признавался он В. Черткову.

Взгляды на воспитание детей у отца и матери были разными. Толстой считал, что Софья Андреевна все делает неверно, не приучает детей к труду, прививая им вредное мировоззрение, привычное лишь в светском московском обществе. «Не могу одобрять и называть хорошим то праздное прожигание жизни, которое вижу в старших. И вижу, что помочь не могу. Они, видя мое неодобрение, от меня удаляются; я, видя их удаление, молчу, хотя и стараюсь при всяком случае говорить... Илья занят своей красотой и привлекательностью для барышень. Сережа, бог его знает чем, но только и тот и другой в полной силе ничего не делают и приучаются к этому. Таня... – по своей слабости... ничего не делает», – упрекал он супругу 25 ноября 1885 года.

Софья Андреевна же в одном из писем, написанных мужу в декабре 1884 года, очень точно сформулировала суть главного противоречия между ним и ею. «Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту перво-

бытную жизнь, из которой, женись на мне, ты вышел. Я – городская. Я не понимаю и не пойму никогда деревенского народа». И далее совсем безжалостно: «Но жаль, что своих детей ты мало полюбил, если б они были крестьянкины дети, тогда было бы другое». Жить бы Льву Николаевичу в своей любимой Ясной Поляне, периодически показываясь перед широкой общественностью. Возможно, что тогда он порадовал бы мир еще не одним шедевром. Но жизнь сложилась по-другому...

Хамовники сыграли свою особую и значительную роль в семейной жизни Толстых. В 1884 году сюда привезли родившуюся в июне того же года дочь Александру. В январе 1886-го здесь скончался четырехлетний сын Алексей. В феврале 1888-го сыграли свадьбу сына Ильи. А через месяц родился последний ребенок Толстых – Ванечка. В декабре того же года родилась первая внучка Анна. Летом 1895 года сыграли свадьбу Сергея, в мае 1896-го женился Лев Львович, в июне 1897-го вышла замуж Мария, наконец, на 1899 год припала свадьба Андрея и бракосочетание Татьяны Львовны.

Само присутствие Толстых в Москве усиливало вроде бы вполне привычные разногласия по поводу того, чему и как учить детей, нередко доводя тот или иной спор до максимальной точки накала. Думается, что в Ясной Поляне многого того, что окрашивало жизнь супругов в черный цвет, удалось бы избежать.

Живя в Москве, Толстой, в молодости вкусивший немало светских удовольствий на балах, в салонах и в бильярдных, теперь никак не мог понять, что это за магнит такой, который так тянет его молоденькую дочь Татьяну в столь чуждое ему, пожилому человеку, светское общество. Чем больше он отговаривал ее, тем сильнее ей хотелось оставить дом в Хамовниках, вырваться хотя бы на несколько часов. Роскошь, претившая отцу, нравилась дочери.

Ей шел девятнадцатый год, и по обычаю того времени, соблюдавшемуся в дворянском обществе, ее нужно было «вывозить» в свет, чем энергично и с большой охотой занималась ее мать. 1883 год «начался и прошел в самой светской жизни, – выездах и удовольствиях всяких для моей Тани, которая так несомненно этого желала, так всем существом требовала этого и безумно веселилась, что устоять было невозможно», – писала С. А. Толстая в автобиографии.



Лев Толстой – холостяк



Софья Берс, супруга писателя, 1860-е годы

В спорах с женой и дочерью проявлялось и презрительное отношение Толстого к московской жизни. Отношение это переходило границы московской усадьбы, выплескиваясь на страницы произведений писателя. Однажды, переписывая трактат «Так что же нам делать?», Софья Андреевна прочла следующие слова мужа: «В ту ночь, в которую я пишу это, мои домашние ехали на бал». Далее, назвав балы «одним из самых безнравственных явлений нашей жизни», «хуже увеселений непотребных домов», Толстой признается, что, когда его семейные собираются на бал, он уходит из дома, «чтобы не видеть их в их развратных одеждах».

Семейные ссоры происходили на глазах у детей: «Ни тот, ни другая ни в чем не уступали. Оба защищали нечто более дорогое для каждого, нежели жизнь: она – благосостояние своих детей, их счастье, – как она его понимала; он – свою душу», – свидетельствовала

Татьяна Львовна. Предстающая перед нами своеобразная переключка (из дневниковых записей и писем) мужа и жены похожа на разговор глухого с немым:

1 октября 1882 года: «Вся эта всеобщая нищета и погоня, и забота только о деньгах, а деньги только для глупостей, – все это тяжело видеть».

22 декабря 1882 года: «Опять в Москве. Опять пережил муки душевные ужасные». «Я довольно спокоен, но грустно часто от торжествующего, самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, и они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки; и мы так стоим друг против друга, не понимая друг друга и удивляясь, и осуждая друг друга. Только их легион, а я один. Им как будто весело, а мне как будто грустно».

3 января 1883 года: «Вчера был самый настоящий бал, с оркестром, ужином, генерал-губернатором и лучшим московским обществом у Щербатовых (...) Я разорилась, сшила черное бархатное платье (...) очень вышло великолепно. Таня очень веселилась, танцевала котильон с дирижером в первой паре, и лицо у нее было такое веселое, торжествующее (...) До 6 часов утра мы все были на балу. Я очень устала, но нашлись приятные дамы; перезнакомилась с такой пропастью людей, что всех и не припомнишь. Теперь мы совсем, кажется, в свет пустились: денег выходит ужас! Веселого, по правде сказать, я еще немного вижу. Кавалеры в свете довольно плохие. Назначили мы в четверг прием. Вот садимся, как дуры, в гостиной (...) Потом чай, ром, сухарики, тартинки – все это едят и пьют с большим аппетитом. И мы едем тоже, и так же нас принимают по приемным дням».

10 февраля 1883 года: «Это время я совсем с ног сбилась: Таня 20-го играет в двух пьесах, а 12-го у меня детский вечер, будет всего человек 70. Одних детей соберется 45 человек, все это будет танцевать, я взяла тапера (...) Вчера у гр. Капнист после репетиции затеяли плясать пар восемь и так бешено веселились, что просто чудо. Завтра тоже затевают у княжон Оболенских. Я всеми силами удерживаюсь от лишних выездов, но Таня так и стремится плясать».

2 марта 1883 года: «Последний бал наш был в Собрании в субботу вечером; все московское высшее так называемое общество поехало на этот бал. Таня так была уставши, что в мазурке два раза упала».

Иногда, правда, под влиянием проповедей мужа на Софью Андреевну находило озарение: «В голове моей теперь, в тиши первой недели поста, проходит вся моя только что прошедшая зимняя жизнь. Я немного ездила в свет, забавляясь успехами Тани, успехами моей молоджавости, весельем, всем, что дает свет. Но никто не поверит, как иногда и даже чаще, чем веселье, на меня находили минуты отчаяния и я говорила себе: “Не то, не то я делаю”. Но я не могла и не умела остановиться», – писала Софья Андреевна 5 марта 1883 года.

Но вскоре опять: «Делала я визиты всем, вчера 10 визитов сделала! В четверг у меня перебивали все, и в пятницу у нас был вечер молодежи: 13 барышень и 11 молодых людей и один стол в винт и целая гостиная маменек», – из письма сестре от 24 апреля 1883 года перед отъездом из Москвы в Ясную Поляну.

Доставалось от Льва Николаевича и старшему сыну Сергею, обратившемуся к отцу с вопросом после окончания в 1885 году естественного факультета Московского университета, чем ему теперь следует заняться. «Дела нечего искать, полезных дел на свете сколько угодно. Мести улицу – также полезное дело», – отрезал Толстой, чем сильно задел молодого человека.

Если уж кого и любил Толстой действительно самозабвенно, то своего последнего сына Ванечку, в котором души не чаял. И не только потому, что последыша всегда жалче, чем других. Ванечка родился в Хамовниках 31 марта 1888 года, когда его отцу было шестьдесят лет. Ребенок рос на редкость сообразительным и любознательным, под стать самому Льву Николаевичу. В шесть лет понимал по-французски и по-немецки, но лучше всего говорил на английском. Как когда-то его отец в детстве, он тоже стал придумывать разные интересные истории,

по-детски наивные: «Я хочу как папа сочинять», – говорил он матери. Рассказ маленького Ивана Толстого даже напечатали в детском журнале.

С отцом у них установилось удивительное взаимопонимание. У них была одна занимательная игра: Ванечка забирался в большую плетеную корзину с крышкой, а Лев Николаевич носил корзину по дому. Ванечка должен был угадать, в какой комнате они находятся. И угадывал, к всеобщей радости. «Как-то раз, расчесывая свои выющиеся волосы перед зеркалом, Ванечка обернул ко мне свое личико и с улыбкой сказал: “Мама, я сам чувствую, как я похож на папу”», – вспоминала Софья Андреевна. А папа тем временем надеялся, что Ванечка в дальнейшем продолжит его дело на литературном поприще.

Смерть всегда забирала у Льва Толстого самых лучших и близких ему людей. Так было в детстве, когда он потерял мать, отца и бабушку, и в середине жизни, когда на руках у него умер любимый брат Николенька. Так случилось и теперь. Мальчик заболел скарлатиной, которая протекала очень злокачественно. Бог прибрал Ванечку 23 февраля 1895 года. Смерть его подкосила Льва Николаевича: «Он очень привязался к нему и любил его исключительно. Мне кажется, что он постарел и сгорбился за это время», – писала дочь Мария Львовна.

Отец так объяснял смерть сына: «Природа требует давать лучших, и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка». Больше детей у Толстых не было.

Именно в Хамовниках среди своих взрослых детей Толстой пытается проповедовать здоровый образ жизни, часто не находя понимания. В 1884 году он становится вегетарианцем, благодаря чему обед в столовую подается по двум меню.

Вторит отцу лишь средняя дочь Мария. Она максимально упрощает условия своей жизни. Спит на досках, покрытых тонким войлоком, вегетарианствует, переписывает рукописи Льва Николаевича. «Маша дорогого стоит, серьезна, умна, добра. Имея такого друга, я смею еще жаловаться», – пишет он в дневнике. Мария умирает от воспаления легких в 1906 году.

В декабре 1887 года Лев Николаевич основывает первое в Москве общество трезвости под названием «Согласие против пьянства», а в феврале 1888 года бросает курить. По Москве Толстой часто ходит пешком (это тоже полезно для здоровья), несмотря на дальние расстояния. Дойти до Покровского-Стрешнева, где летом жили родственники его жены, Берсы, для него не крюк. Трижды он уходит из Москвы пешком в Ясную Поляну: в апреле 1886 года вместе с сыном художника Н. Н. Ге и М. А. Стаховичем, в апреле 1888-го опять с Ге и в мае 1889 года с Е. И. Поповым.

Прогуливается Лев Николаевич по ночной Москве. Любит он выйти к Девичьему полю, излюбленному месту проведения народных гуляний. Не всегда ему там нравилось. Так, вернувшись после очередной своей вылазки на Девичье поле в пасхальную неделю 1884 года, Толстой, понаблюдав за праздным московским населением, запишет: «Жалкий фабричный народ – заморыши».



Лев Толстой верхом на лошади

Видели москвичи знаменитого писателя верхом на лошади. Кружит он по московским улицам и на велосипеде. Обучался Толстой велосипедной езде в апреле 1895 года в Манеже, куда его поначалу не хотел пускать вахтер, так как не мог поверить, что человек в черной блузе и сапогах и есть тот самый граф. Это был далеко не первый подобный случай. Как-то Льва Николаевича, пришедшего в консерваторию в тулупе и в валенках, не узнал швейцар (консерватория тогда находилась еще на Воздвиженке, на месте нынешнего сквера перед станцией метро «Арбатская»).

Новое увлечение так захватило писателя, что он, оставив побоку прочие занятия, часами разъезжал на новом для него средстве передвижения. «Ночью спал всего 4 часа. Вчера устал на велосипеде», – писал он в дневнике 15 мая 1895 года. Гости усадьбы удивлялись, наблюдая, как во дворе дома автор «Войны и мира» лихо летал и с увлечением предавался новому спорту. Лев Николаевич довольно быстро добился успехов и здесь, удостоившись чести быть принятым в члены Московского кружка велосипедной езды. А в 1896 году от имени Московской городской управы ему выдали «водительское удостоверение», а велосипеду присвоили официальный номер – 867.



Любимый велосипед писателя



Лев Толстой на коньках

Родные очередную затею пожилого графа, конечно, не одобрили, подсунав ему статью из английского журнала о вреде велосипедной езды, на что Толстой парировал, что врач еще лет двадцать назад запретил ему всякую физическую работу. Вскоре, видимо немного остыв, Лев Николаевич перестал с такой интенсивностью заниматься велосипедной ездой. Лишь иногда он садился на своего стального коня: «Утром пишет, потом играет в теннис, проехался на велосипеде», – фиксировала Софья Андреевна в дневнике в октябре 1896 года. Зимой Толстой любил кататься на коньках на катке напротив главного дома (летом на лужайке играли в крокет) или на покрытых льдом садовых дорожках.

Нередко Толстого можно было встретить идущим пешком по Арбату. «Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязанное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, кото-

рую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями: “Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания”» – таким однажды встретил Толстого Бунин. Иван Алексеевич так и не смог точно припомнить год, но, скорее всего, это было в конце 1890-х.

Случилась встреча в морозный вечер, пожилой Толстой шел настолько стремительно, что «неожиданно столкнулся» с молодым Иваном Алексеевичем. Лев Николаевич не шел, а буквально бежал по Арбату «своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку». Он сразу узнал Бунина: «Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?» Часто появляясь в городе, не ушел Лев Николаевич и от внимания вездесущего Владимира Гиляровского. Как-то в начале 1880-х он наткнулся на Толстого в переулках Арбата. Тот был в поношенном пальто, высоких сапогах, в круглой драповой шапке. Гиляровский застал писателя за важным занятием: он помогал крестьянину подымать телегу, груженную картофелем, и подбирал с мостовой рассыпавшийся картофель. Извозчик, везший Гиляровского, сказал: «Свой дом в Хамовническом переулке, имение богатое... Настоящий граф – Толстой по фамилии...» – и добавил, что Толстой помогал извозчикам складывать дрова на извозничьем дворе.

Помимо непереносимого физического и умственного труда много времени у Льва Николаевича занимало общение с людьми. И кто только не приходил в Хамовники к Толстым! Проще, наверное, назвать тех, кто там не бывал («в Москве тяжело от множества гостей», – писал Лев Николаевич в дневнике в ноябре 1894 года). Одно лишь перечисление фамилий может занять целую брошюру – секретари Льва Николаевича скрупулезно записывали и переписывали всех, кто переступал порог дома. Среди них были и званые гости, и незваные, богатые и нищие, люди самых разных профессий. Знакомые Толстому и совершенно чужие, «темные», по выражению Софьи Андреевны, – к нему, и «светлые» – к ней. Приходят коллеги-литераторы: Фет, живущий неподалеку, на Плющихе (д. 36, не сохранился), В. Г. Короленко, М. Горький, В. М. Гаршин, Н. С. Лесков, А. Белый, Д. В. Григорович, А. Н. Майков, А. Н. Островский, Г. И. Успенский, А. П. Чехов. Посещают Толстого музыканты и композиторы: А. Б. Гольденвейзер, Н. А. Римский-Корсаков, братья Рубинштейны, А. Н. Скрябин, С. И. Танеев, художники Н. Н. Ге, В. И. Суриков, К. А. Коровин, И. Н. Крамской, Л. О. Пастернак, И. Е. Репин, В. М. Васнецов, Н. А. Касаткин, режиссеры В. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский, а также Ф. И. Шаляпин, М. М. Антокольский, В. О. Ключевский, А. Ф. Кони, И. И. Мечников, К. А. Тимирязев, П. М. Третьяков и многие другие.

Впечатления от бесед с посетителями хозяин дома непременно заносил в свой дневник. Вот, например, из записи 1884 года мы узнаем, кто приходил и о чем говорили. «Прекрасно поговорили с Фетом. Я высказал ему, – писал Толстой, – все, что говорю про него, и дружно провели вечер» (правда, всего через пять лет он написал совсем другое: «Жалкий Фет... Это ужасно! Дитя, но глупое и злое»).

«Вот дитя бедное и старое, безнадежное. Ему надо верить, что подбирать рифмы – серьезное дело. Как много таких», – а это уже про другого поэта, Я. П. Полонского. И еще про него же: «Полонский интересный тип младенца глупого, но с бородой, и уверенного и не невинного». (Угроздило же Фета быть возведенным в звание камергера с ключом, а Полонского – получить орден Анны I степени на ленте! После этого Толстой и вовсе махнул на них рукой и записал в дневнике 16 апреля 1889 года: «Фет... безнадежно заблудший. У государя ручку целует. Полонский с лентой. Гадко. Пророки с ключом и лентой целуют без надобности ручку».) Писатель-народник Н. Н. Златовратский пришел изложить Толстому «программу народничества». Программа не нашла отклика в душе Льва Николаевича: «Надменность, путаница и плачевность мысли поразительна». Неприятное впечатление оставил приход философа В. С. Соловьева: «Мне он не нужен, и тяжел, и жалок».

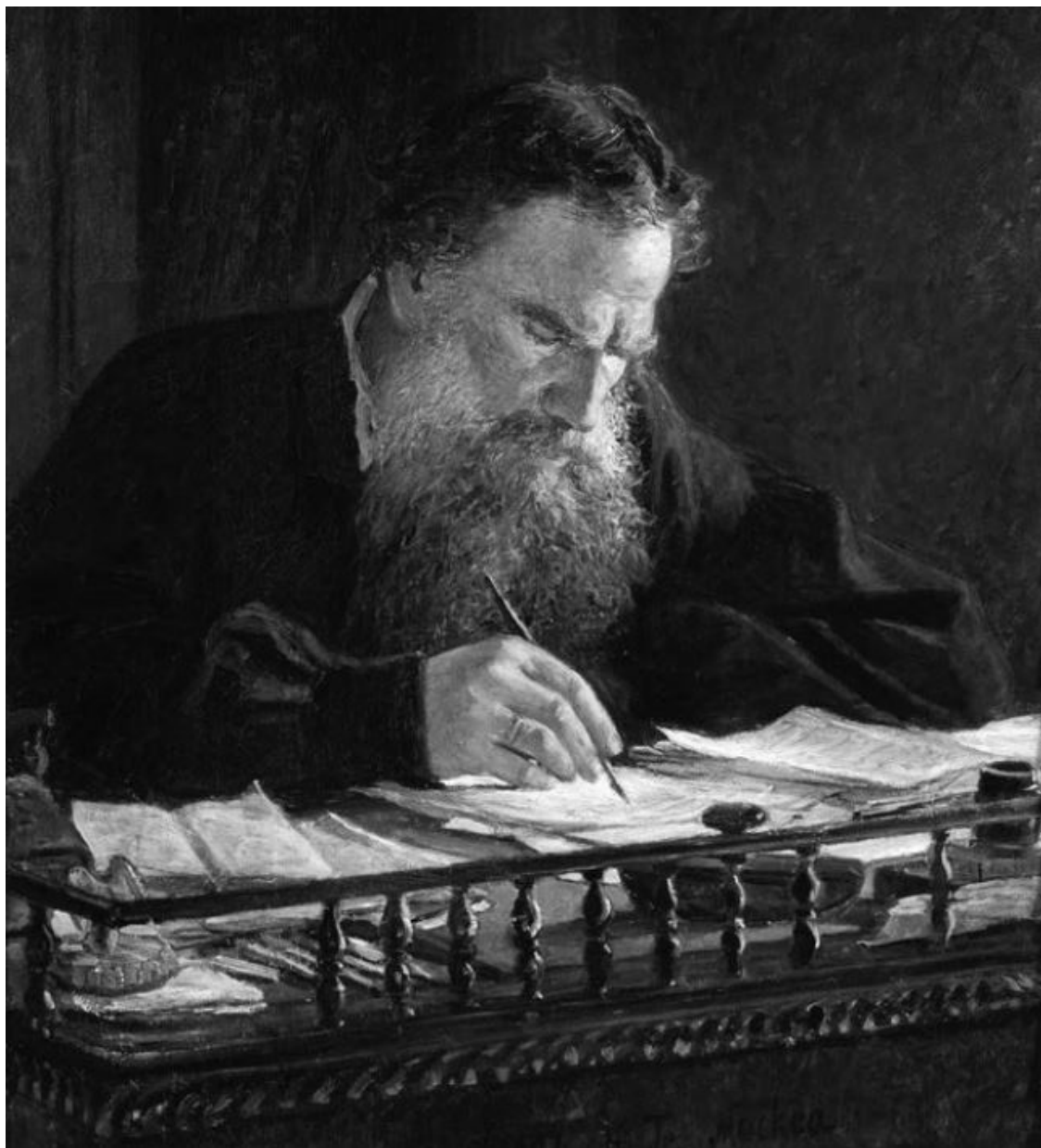
Дважды почтил писателя своим присутствием П. М. Третьяков. О первом разговоре с Третьяковым 7 апреля Толстой записал, что говорил с ним «порядочно». Во время второго разговора 10 апреля Третьяков спрашивал его «о значении искусства, о милостыне, о свободе женщин». Толстой подытожил: «Ему трудно понимать. Все у него узко, но честно». В Третьяковской галерее Толстой бывал неоднократно.

С Ильей Репиным Толстой «очень хорошо говорил». Приходил В. М. Васнецов, признавшийся, что понимает его «больше, чем прежде». Толстой прибавляет: «Дай бог, чтобы хоть кто-нибудь, сколько-нибудь».

Приходили и московские профессора: Н. И. Стороженко (литература), Л. М. Лопатин (психология), И. И. Янжул, А. И. Чупров, И. И. Иванюков (политическая экономия), С. А. Усов (зоология), Н. В. Бугаев, В. Ковалев (математика). Вели ученые споры с хозяином дома.

Профессор зоологии Московского университета Сергей Усов часто заходил к Толстому: «Здоровый, простой и сильный человек. Пятна на нем есть, а не в нем». Вместе с Усовым Толстой ходил в Благовещенский собор смотреть роспись на стенах, которую нашел «прекрасной». Особенно понравились ему изображения древних философов с их изречениями.

А вот и о другом профессоре: «Прелестная мысль Бугаева, что нравственный закон есть такой же, как физический, только он *"im Werden"* [в становлении]. Он больше, чем *im Werden*, он сознан. Скоро нельзя будет сажать в остроги, воевать, обжираться, отнимая у голодных, как нельзя теперь есть людей, торговать людьми. И какое счастье быть работником ясно определенного божьего дела!»



Лев Толстой. Художник Н. Ге, 1884. Фрагмент

Среди художников в Москве духовно и крепче всего Толстой сблизился с Николаем Ге. «Вижу, что вы меня так же любите, как и я вас», – писал ему Лев Николаевич. «Ге проводил большую часть своей жизни в деревне. Но к концу зимы он обыкновенно ездил в Петербург на открытие “Передвижной выставки”. Никогда он не проезжал мимо нас, не заехавши к нам, где бы мы ни были – в Москве или в Ясной Поляне. Иногда он заживался у нас подолгу, и мало-помалу мы так сжились, что все наши интересы – печали и радости – сделались общими», – вспоминала Татьяна Львовна.

Когда Ге гостил в Хамовниках, то Толстой мог сказать и так: «Если меня нет в комнате, то Николай Николаевич может вам ответить: он скажет то же, что я». В период своего двухмесячного проживания у Толстых Николай Ге писал портреты Льва Николаевича, его жены и ее сестры Т. А. Кузминской. Выше всего Толстой ценил картину Ге «Тайная вечеря», отзываясь о ней в том духе, что его собственное представление о последнем вечере Христа с учениками, сложившееся к этому времени, как раз совпало с тем, что передал в своей картине Ге.

3 января 1894 года к Толстому впервые пришел Бунин. Первое свидание двух писателей оказалось недолгим. Позднее Бунин написал о нем в своей работе «Освобождение Толстого». В небольшом эпизоде Ивану Алексеевичу удалось передать не только обуревавшие его страсти и впечатления, но и обстановку толстовского дома. «Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, – сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними – Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце – и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют – и я вижу лакея в плюхоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

– Как прикажете доложить?

– Бунин.

– Как-с?

– Бунин.

– Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

– Пожалуйста обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, – ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, – кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, – меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом, – быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

– Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе...

Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня.

Что он еще говорил?

Все расспрашивал:

– Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насиуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:

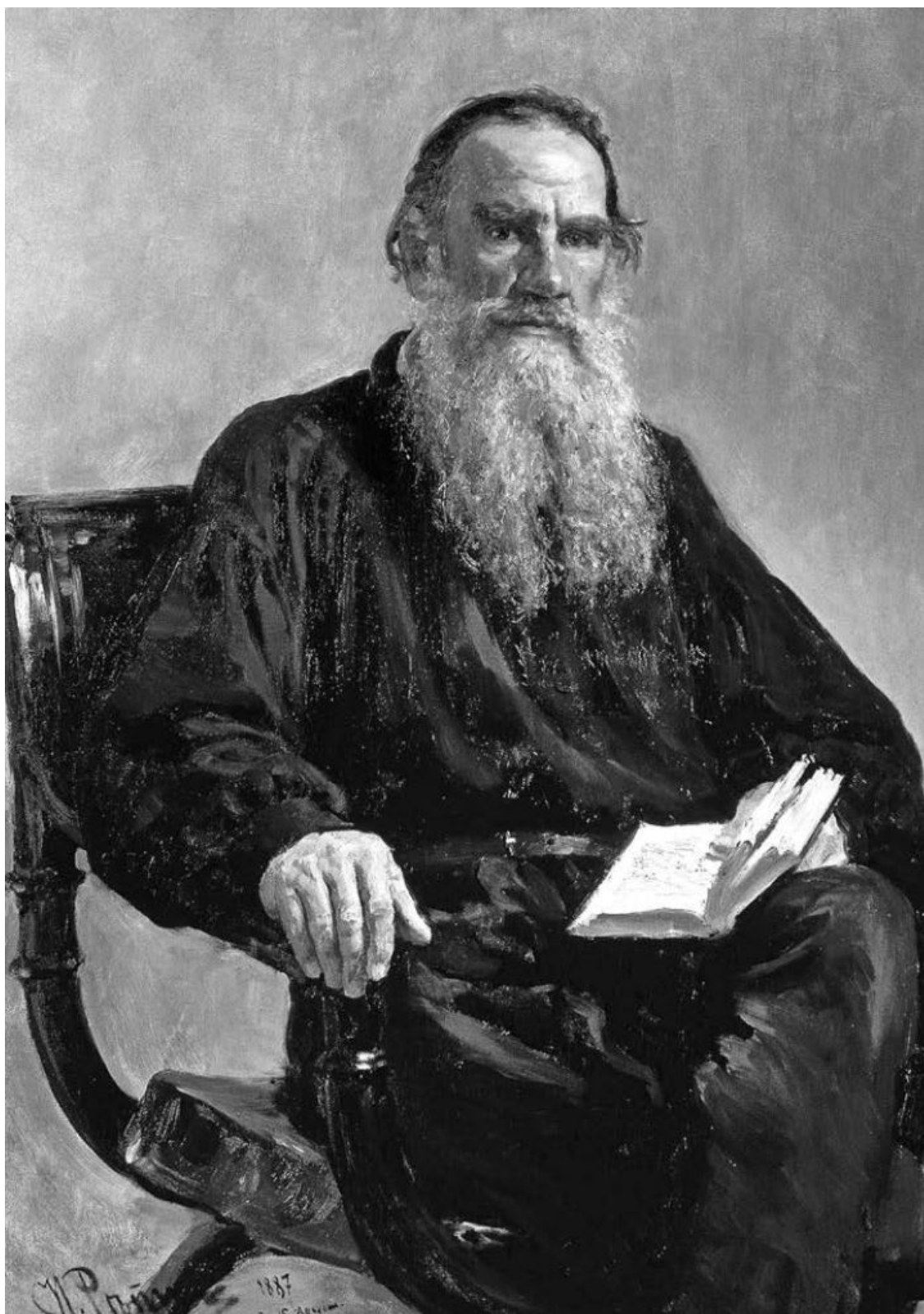
– Леон, – сказала она, – ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

– Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его – цените их, живите ими...

И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице...

Возвратясь к себе в Полтаву, Бунин написал: «Ваши слова, хотя мне удалось слышать их так мало и при таком неудачном свидании, произвели на меня ясное, хорошее впечатление; кое-что ярче осветилось от них, стало жизненной».



Портрет Льва Толстого. Художник И. Репин, 1887. Фрагмент

Второй раз Бунин пришел в Хамовники в марте 1895 года, вскоре после постигшего семью Толстых горя – смерти семилетнего сына Ванечки. «Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

– Войдите, – ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, – “Хозяин и работник”. Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

– Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после “Хозяина и работника” он тотчас заговорил о нем:

– Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит – умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!»

Антон Павлович Чехов пришел в Хамовники 15 февраля 1896 года вместе с издателем А. С. Сувориным. Почти через год Чехов и Толстой встретились уже в другом месте, в больнице. Толстой пришел 28 марта 1897 года в клинику профессора Остроумова на Девичьем поле (ныне Большая Пироговская улица, д. 2), где находился на лечении Антон Павлович. Сюда же в 1883 году к Толстому пришел Владимир Григорьевич Чертков, совершенно незнакомый ему молодой человек 29 лет, вскоре ставший самым близким. Влияние его на Толстого было безмерным и постоянно оспаривалось Софьей Андреевной. Именно его Лев Николаевич назначил своим литературным душеприказчиком.

Приезжали к Толстому не только из России, но и из Америки. Лучшая на тот момент переводчица русских писателей (Пушкина, Тургенева, Лескова, Горького) Изабелла Флоренс Хэпгуд (1850–1928) пришла в Хамовники в ноябре 1888 года. Свел ее с Толстым Стасов. После возвращения из России Хэпгуд опубликовала воспоминания «Прогулка по Москве с графом Толстым» и «Толстой в жизни», недавно переведенные на русский язык. Эти записки представляют собою ценный исторический источник, отрывок из которого мы публикуем в этой книге.

«Мы сидели за обеденным столом в доме графа Толстого в Москве. Я только что отведала маринованных грибов из Ясной Поляны, самых вкусных, какие я встречала в этой стране, где грибов едят много. Грибы послужили поводом для беседы. Дети спали. Взрослые члены семьи, несколько родственников и мы были заняты оживленной беседой; точнее, это я беседовала с графом, а остальные вступали в разговор время от времени (...)

“Все, что я написал до сих пор, – признавался Толстой, – было создано под вредным влиянием табака. Поэтому я бросил курить. Все, что у меня издается с этого времени, – результат чистого умственного и духовного подъема”». В ответ на это гостья пошутила: «Лев Николаевич, очень, очень прошу вас, начните курить немедленно».

На следующее утро Толстой пришел к переводчице в гостиницу. «Раздался характерный стук в нашу дверь, похожий на артиллерийский залп. В России слуги, почтальоны и другие люди подобного рода так редко предупреждают о своем приходе стуком, что в любой момент опасаясь увидеть дверь отворенной без предупреждения, если она не заперта. И даже не знаешь, что делать, услышав стук, когда посетитель тут же входит в комнату и называет себя. Это был граф Толстой».

Толстой направлялся в книжную лавку Ивана Сытина, где продавались книжки издательства «Посредник». Удивление настигло Изабеллу Флоренс Хэпгуд на улице. Когда они с Львом Николаевичем вышли из гостиницы, окружающие, начиная с простого мужика и слуги, «с неодобрением сверлили взглядами из-за угла». Не зря, наверное, Толстой все спрашивал переводчицу, не будет ли она стыдиться его костюма, когда он зайдет за ней в гостиницу. Собственно, одет он был как всегда: «На нем был крестьянский тулуп из овчины темно-желтого цвета, по которому разметалась его седая борода. Серые крестьянские валенки до колен и вяза-

ная шапочка довершали его костюм», под тулупом был «вязанный свитер, надетый поверх его обычного костюма из перетянутой ремнем блузы и синих брюк».

Иностранка не верила ни своим ушам, ни глазам: ни один из многочисленных извозчиков, стоявших перед гостиницей, не открыл рта, чтобы предложить свои услуги. Обычно ее встречал целый хор предложений. А сейчас люди просто выстроились в молчаливый, застывший от изумления ряд, не промолвив ни слова.

«Я не думаю, чтобы что-то могло сдержать язык русского извозчика. Может быть, они не узнали графа? Сомневаюсь. Мне говорили, что в Москве все знают его и как он одет, но на мои настойчивые расспросы извозчики всегда давали отрицательный ответ. В одном только случае извозчик прибавил: “А господин он хороший и близкий друг моего приятеля”. Видимо, московские извозчики, у которых Толстой пользовался особой популярностью, уже заведомо были уверены, что их услуги не понадобятся ни ему, ни его спутникам, кем бы они ни были».

Толстой рассказал удивленной переводчице, что всегда ходит пешком, потому что у него «постоянно нет денег». Еще он прибавил: «...постоянное пользование лошадьми – пережиток варварства. Поскольку мы становимся более цивилизованными, лет через десять лошадьми совсем перестанут пользоваться. Я уверен, что в цивилизованной Америке ездят не так много, как мы в России».

Американка пробовала возражать, заявив, что, напротив, на ее родине ездят на лошадях с каждым годом все больше и больше: «И как людям добираться до нужного места, как переносить тяжести, и хватит ли человеку дня, если он будет повсюду ходить пешком?» Толстой не мешкая парировал: «Только те, которым нечего делать, всегда в спешке ездят с места на место. У занятых людей хватает времени на все».

Пешая прогулка по зимней Москве оказалась напрасной – на книжной лавке висел замок, поскольку, по действующим тогда правилам, по воскресеньям торговать в помещениях можно было только с двенадцати до трех часов дня. Странно, что этого не знал Толстой. Но как бы там ни было, больше гулять по Москве Толстому и его переводчице не пришлось, так как «два дня спустя у него начались боли в печени, расстройство желудка, вызванные длительными прогулками, вегетарианской пищей, которая противопоказана ему, и сильной простудой».

Перед скорым отъездом американка заглянула в Хамовники еще раз. Итог своим встречам с русским писателем она подвела следующий: «Я знаю, что в последнее время графа стали называть “сумасшедшим” или “не совсем в своем уме” и тому подобное. Всякий, кто беседует с ним подолгу, приходит к заключению, что он никак не похож на такую персону. Толстой просто человек со своими увлечениями, своими идеями. Его идеи, предназначенные им для усвоения всеми, все же очень трудны для всеобщего восприятия, а особенно трудны для него самого. Это те неудобные теории самоотречения, которые очень немногие люди позволяют кому бы то ни было проповедовать им. Добавьте к этому, что философскому изложению его теории не хватает ясности, которая обычно, хотя и не всегда, является результатом строгой предварительной работы, – и у вас будет более чем достаточно оснований для слухов о его слабоумии. При личном знакомстве он оказывается необыкновенно искренним, глубоко убежденным и обаятельным человеком, хотя он не старается привлечь к себе внимание. Именно его искренность и вызывает споры».

Поздние произведения Толстого («Крейцера соната» и другие), написанные в Хамовниках, Изабелла Флоренс Хэпгуд отказалась переводить. В 1890 году она объяснила свой отказ: «Почему я не перевожу сочинение известного, вызывающего восхищение русского писателя? Я уверена, эта книга не принесет никакой пользы людям, для которых она предназначена. Это именно тот случай, когда незнание есть благо и когда чистые умы подвергаются развращению, которого лишь немногие сумеют избежать. Мне кажется, такая болезненная психология едва ли может быть полезной, несмотря на то, что мне очень неприятно критиковать графа Тол-

стого». Но переписка между ними не прервалась, и письма из Америки продолжали приходить в Хамовники.

Остались в летописи жизни Толстого в Хамовниках и безымянные посетители, их подробно перечисляет биограф Толстого В. Ф. Булгаков. В некоторых случаях это весьма экзотические фигуры: однорукий мальчик-нищий, пришедший за подаванием; труппа балаганных актеров с Девичьего поля, приглашенных на вечерний чай Львом Николаевичем в зал дома; поэт-самоучка, пришедший к Толстому за 150 верст; городская учительница – за советом по личному делу; издатель, просящий Толстого о предисловии к книге; гимназист, беседующий с Толстым о половой жизни; революционер, споривший с Толстым о непротивлении; духовное лицо, склонявшее Толстого к православию; предводитель дворянства; студент, два земских врача из Сибири; московский ученый; купец; «дама южного типа»; группа студентов, приходивших к Толстому с вопросами «как жить»; проситель службы; поденщики-рабочие; американский богослов и американский профессор философии; два семинариста, выпрашивавшие у Толстого на свои расходы 150 рублей; девица, просившая у Толстого 50 рублей; крестьянин-свободомыслящий, упрекавший Толстого в допущении в доме православных священников; «прекрасный господин»; дама – молодая писательница; нотариус; учительница со своим «сочинением»; гимназистка последнего класса, влюбленная в Толстого своей «первой любовью», и прочие. Как говорится в народе, «все подряд». Толстой не только принимает у себя представителей творческой интеллигенции, но и сам посещает их. Не раз бывал он в Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, где училась дочь Таня. Так, 29 марта 1884 года он беседовал там с В. Е. Маковским, а 15 апреля – с И. М. Прянишниковым. 7 апреля 1884 года он смотрел экспозицию «Товарищества передвижных выставок», отметив в дневнике свои впечатления словами: Крамского «Неутешное горе» – «прекрасно», но Репина «Не ждали» «не вышло».

Приходил на выставку передвижников Толстой и в 1893 году, о чем осталось художественное подтверждение – портрет, выполненный Л. О. Пастернаком «по памяти». На нем пометы: «Первая встреча»; «На передвижной выставке до открытия». Пастернака Толстому представил К. А. Савицкий. Толстой пригласил Леонида Осиповича к себе домой, тот пришел к писателю со своими иллюстрациями к «Войне и миру». Толстой восхитился, сказав, что он мечтал о таких иллюстрациях к своему роману.

«Желая хоть чуточку докарабкаться до духа и художественной красоты этого гениального произведения (не боюсь Вам так выражаться – оба полушария сказали это), из кожи лезу, стараюсь, ночи продумываю каждую черточку типа, сцены; переделываю, испытываю “муки творчества”, чтобы лучше закрепить на бумаге представляемое в воображении, и вот уж кажется, по силам своим достиг приблизительно чего-то...” – писал Леонид Пастернак Татьяне Львовне Толстой.

«У меня какое-то особое чувство всегда было к нему, какое-то благоговение что ли, я и сам не знаю, и это с первой минуты знакомства: сидел бы и смотрел только на него, следил бы его – ни разговаривать с ним не хочется, ни чтобы он говорил, а только смотреть или скорее, глядя на него, внутренне в себе выражать его “стиль”, его всего, – монументальным его выражать. Помните, я Вам передавал о моем желании или представлении написать его портрет не обычно, а “творчески”, не с натуры фотографический, а суммированно. Ну, словом, создать “стиль” Льва Николаевича: могучий, монументальный. Как явление природы он для меня всегда. Что-то в нем есть стихийное. Такое он на меня впечатление при первом знакомстве произвел... Таким я отчасти его нарисовал», – рассказывал позднее Пастернак одному из своих адресатов.

Пастернак – лишь один из художников, нарисовавший Толстого. Репин, Серов и другие живописцы создавали портреты Толстого и его родных с натуры, приходя в Хамовники, скульп-

птор Марк Антокольский лепил здесь бюст писателя. Не только эпистолярные произведения создавались в этом доме.

Бывает Толстой в театрах, в том числе в Малом, в «Эрмитаже» в Каретном ряду. В январе 1892 года один из первых премьерных спектаклей по своей пьесе «Плоды просвещения» Толстой-драматург пожелал увидеть незамеченным другими зрителями: «...мне сообщили по телефону, что гр. Л. Н. Толстой пришел в театр и хочет посмотреть “Плоды просвещения”, но при условии, чтобы его посадили на такое место, где бы он не был виден публике», – вспоминал управляющий конторой Московских императорских театров П. М. Пчельников.

«Вчера на “Дяде Ване” был Толстой. Переполох в театре был страшный. Очумели все. Шенберг прибежал ко мне два раза сообщать об этом. Немирович тоже был встревожен. Вишневский кланялся все время в ложу Толстому», – читал Чехов в письме своей сестры о посещении Толстым спектакля Московского общедоступного художественного театра, созданного в 1898 году К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Спектакль давали в «Эрмитаже» 24 января 1900 года.

А в декабре того же года Толстой пришел в дом Шереметева на Воздвиженке (ныне д. 6), где тогда был Охотничий клуб. Общество искусства и литературы, одним из основателей которого был Станиславский, устроило в клубе чеховский вечер. Ставились водевили «Свадьба» и «Медведь».

В период жизни Толстого в Долгохамовническом переулке его активная общественная деятельность раздражает одних и восхищает других, мало кого оставляя равнодушным. И потому в Хамовники идут не только люди, но и письма со всей России. Поток писем, в основном с просьбой о помощи. Авторы просят поспособствовать деньгами, замолвить словечко, дать житейский совет. Начинающие литераторы шлют в Хамовники рукописи, почитатели таланта и собиратели автографов просят выслать им фотографии с дарственными надписями. Встречаются в переписке и анонимные обращения с угрозами убить Толстого «за оскорбление Господа Иисуса Христа» и за «вражду к царю и отечеству».

Толстого мало занимают угрозы. Куда более сильно он увлечен желанием помочь нуждающимся. Времени на это он не жалеет, вероятно, даже в ущерб сочинительству. Такая возможность ему представилась в начале 1890-х годов, в это время он бывает в Москве редкими наездами. В сентябре 1891 года писатель выезжает из Ясной Поляны, но направляется не в Москву, а в деревню Бегичевку Данковского уезда Рязанской губернии, где устраивает бесплатные столовые и детские приюты для пострадавших от голода, охватившего тогда Центральную Россию. 8 декабря 1891 года он пишет А. А. Толстой: «Бедствие велико, но радостно видеть, что и сочувствие велико. Я это теперь увидел в Москве, не по московским жителям, но по тем жителям губерний, которые имеют связи с Москвою», – выражает он свое недовольство московским обществом.

В Хамовниках в это время остается Софья Андреевна с младшими детьми. Старшие сыновья Сергей и Илья также помогают голодающим в Тульской губернии, а Лев – в Самарской губернии. «Москва, Долгохамовнический пер., 15. Графине Софье Андреевне Толстой» – такой адрес был опубликован 3 ноября 1891 года в газетах под воззванием С. А. Толстой о необходимости сбора пожертвований для голодающих. Даже Иоанн Кронштадтский, не слишком привечавший Толстого, прислал в Хамовники две сотни рублей. Со всей России Толстым слали деньги, одежду, платья, сухари... За первые две недели ноября 1891 года удалось собрать более 13 тысяч рублей.

В московскую усадьбу приходят простые люди, которым Софья Андреевна раздает мануфактуру для пошивки белья тифозным больным в голодающих районах. Пожертвованные деньги она пересылает мужу в Рязанскую губернию. Поздней осенью 1891 года Толстому удалось вырваться на несколько дней в Москву, а в декабре он вновь вместе с дочерьми Татьяной и Марией покидает Хамовники, чтобы помогать голодающим. Благодаря организованной Тол-

стым всероссийской акции помощи голодающим летом 1892 года было открыто 246 бесплатных столовых, где спасались от голода 13 тысяч человек, а также 124 детских приюта, кормивших почти три тысячи детей.

Еще одно важное дело, инициатором которого явился Толстой, – создание в 1884 году издательства «Посредник». Как говорила Софья Андреевна, ее муж был «помешан на чтении для народа». Лев Николаевич был убежден, что «для народа, кормящего всех нас, для большой публики ничего не сделано. Этот народ, как галчата голодные с раскрытыми ртами, ждет духовной пищи, и вместо хлеба ему предлагают лубочные издатели камень...» Духовная пища, которой «Посредник» начал кормить большую публику, состояла из книг Чехова, Бунина, Гаршина, Салтыкова-Щедрина, Островского и, конечно, самого Льва Николаевича. В марте 1885 года среди прочих были изданы «Кавказский пленник» и «Чем люди живы». Стоили книги сущие копейки, так как авторы «Посредника» отказывались от гонорара. «Посредник» находился в Долгом переулке (дом не сохранился), куда часто ходил Толстой. Руководили издательством толстовские единомышленники В. Г. Чертков и И. И. Горбунов-Посадов.

Течение московской жизни Толстого в 1890-х годах все больше поворачивает в сторону умственного труда, а не физического. Льву Николаевичу, одолеваемому болезнями, идет уже седьмой десяток: «Поглощает теперь всю мою жизнь писание. Утро от 9 до 12, до часу иногда, пишу, потом завтракаю, отдыхаю, потом хожу или колю дрова, хотя сил уже становится меньше, потом обедаю (...), потом письма или посетители. Но все это по энергии жизни, направленной на это, относится к утренней работе как 1:10. Вся жизнь сосредоточивается в утреннем писании». А также, добавим, во встречах с прежними и новыми знакомыми.

По воспоминанию П. И. Бирюкова, веселым и запоминающимся вышел в Хамовниках первый день нового, 1894 года. Во время вечернего чая, на котором присутствовал и Лев Николаевич, разговаривая с гостями, послышался звонок, и вскоре дети с радостью объявили, что приехали ряженые. На лице Толстого мелькнула тень недовольства. Но двери отворились, и в залу вошло несколько почтенных, хорошо известных Москве лиц – художников, литераторов и ученых. Все были несколько удивлены и встали со своих мест, чтобы поздороваться с вошедшими. Но удивление достигло высших пределов, когда среди вошедших заметили самого Толстого в темно-серой блузе, подпоясанной ремнем, с заложенными за него пальцами, который подошел к настоящему Льву Николаевичу и, протягивая ему руку, сказал: «Здравствуйте». Два Льва Николаевича поздоровались, и настоящий Толстой с недоумением рассматривал своими близорукими глазами собственного двойника. Им оказался искусно загримированный его друг Лопатин. Такой же эффект произвели загримированные И. Е. Репиным, Вл. Серг. Соловьевым, А. Г. Рубинштейном и другими. Напряженное недоумение сменилось вскоре бурным весельем, среди которого слышался и громкий хохот Льва Николаевича.

Любовь к живописи по-прежнему влечет Толстого на выставки передвижников (импрессионисты пришлись ему не по душе), а вот любовь к музыке... Бывая на концертах, Толстой все же любит слушать музыку в домашнем кругу, многие музыканты приезжают к нему на дом. Играют его любимого Бетховена, как это произошло 28 ноября 1894 года, когда Сергей Танеев, Антон Аренский и другие устроили в Хамовниках домашний концерт. 15 апреля 1897 года у Толстых играли Александр Скрябин и Константин Игумнов. 10 ноября 1900 года Танеев и Гольденвейзер исполняли в четыре руки симфонию Танеева.

Из того же ряда и приход в Хамовники Рахманинова с Федором Шаляпиным 9 января 1900 года. И хотя пение Шаляпина «не особенно понравилось отцу, может быть, потому, что ему не нравились те пьесы, которые пел Шаляпин, например “Судьба” Рахманинова и “Блоха” Мусоргского; но когда по его просьбе Шаляпин спел народную песню, а именно “Ноченьку”, Лев Николаевич с удовольствием его слушал и сказал, что Шаляпин поет эту песню по-народному, без вычурности и подделки под народный стиль», – вспоминал Сергей Толстой.

По-прежнему много времени писатель проводит за письменным столом. Одним из последних романов Толстого, запечатлевших Москву, было «Воскресение», законченное 15 декабря 1899 года. Стремясь наиболее точно отразить быт тюрьмы, Лев Николаевич горит желанием «самому лично видеть арестантов в их обыденной жизни в тюремной обстановке» Бутырской тюрьмы. Но ничего не выходит. В Бутырках он уже побывал в 1895 году, навещая одного из заключенных. Теперь же в Хамовниках он читает роман тюремному надзирателю И. М. Виноградову, слушая его замечания. В апреле 1899 года писатель направляется к Бутырской тюрьме, чтобы пройти с конвоируемыми заключенными пешком до Николаевского вокзала и затем описать в романе эту дорогу.

Последнее, что написал Толстой в своем кабинете в Хамовниках, был «Ответ на определение Синода». 21 февраля 1901 года Лев Николаевич узнал из этого определения, что отлучен от церкви. Причиной отлучения послужила резкая критика церковных порядков в «Воскресении». Отцы церкви призывали писателя «раскаяться». Толстой и не думал следовать их призывам, ответив так: «Я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей».

Опубликованное в газетах определение Синода вызвало общественное брожение, в основном среди студентов. Манифестации следовали одна за другой. Многие из сочувствовавших Толстому приходили в Хамовники, чтобы выразить поддержку. Появление Льва Николаевича в эти дни на московских улицах – Лубянке, Пречистенке, Кузнецком Мосту – собирало огромные толпы народа, горячо его приветствовавшие.

Светская власть тоже была от графа-философа не в восторге и как могла препятствовала печатанию его философских трактатов на родине, вынуждая публиковать их на Западе, сначала в Женеве, затем в Лондоне, где было основано издательство «Свободное слово».

В своих циркулярах обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев зачастую называл Льва Николаевича полоумным, умалишенным, сумасшедшим. За Толстым был установлен негласный полицейский надзор. Попал под наблюдение и дом в Долгохамовническом переулке.

«В доме проживающего в Москве графа Льва Толстого устроена тайная типография для печатания его тенденциозных произведений, состоящая в непосредственном управлении неблагонадежных в политическом отношении лиц», – доносили директору Департамента полиции П. Н. Дурново. А тот, в свою очередь, просил в апреле 1886 года московского обер-полицеймейстера А. А. Козлова проверить эти сведения. Проверили. «Компетентные источники», то есть шпики и филеры, тайную типографию в Хамовниках не обнаружили. Учитывая, как сам Толстой относился к российским порядкам, можно сказать, что нелюбовь у Толстого и власти была взаимной.



Усадьба в Хамовниках зимой

Благом для московского обер-полицмейстера было бы, если бы Толстой и вовсе не появился в Москве. И такой момент наступил 8 мая 1901 года, когда семидесятидвухлетний писатель покинул свою хамовническую усадьбу. Толстой расстается с Хамовниками на восемь лет. Пришедшие со старостью болезни не пускали Льва Николаевича в Москву, да он и сам к этому не стремился.

Лишь 3 сентября 1909 года он вновь навестил Москву. В город он не приехал, а заехал – по пути к ближайшему другу Черткову, жившему в подмосковном Крекшине. И если бы в это самое Крекшино можно было бы попасть прямо из Ясной Поляны, то, вероятно, Москва не увидела бы писателя и в этот, последний, раз.

Толстой, не баловавший Первопрестольную вниманием так долго, вызвал своим неожиданным появлением фурор. Хорошо, что газеты не прознали об этом заранее, иначе ему не дали бы прохода уже на Курском вокзале. Но народ все равно собрался, в том числе и сам Чертков с сыном, оставившим для нас свидетельства встречи. Откуда-то взялась ветхая старушка, хлоплавшая писателя по спине, пожелав при этом ему здоровья. Носильщик, бросив вещи, побежал поближе поглазеть на того самого графа Толстого.

Толстой приехал в другую Москву, ошеломившую его своими многоэтажными доходными домами, трамваями, телефоном, уличными электрическими фонарями. «Без лошадей ездят, в трубку разговаривают», – изумлялся Лев Николаевич. По дороге с вокзала он все удивлялся, почему не поехали до Хамовников на трамвае. «В трамвай с багажом нельзя», – объяснили ему.

Уже на следующий день, спозаранку, по старой привычке отправился Лев Николаевич в город, дошел до Пречистенки. Хотел, как всегда, помочь незнакомой прохожей. Какой-то дворник обругал его: «Что не в свое дело мешаешься. Ступай отсюда». Видно, московские дворники за восемь лет успели подзабыть графа. Вернувшись в Хамовники, Лев Николаевич, по воспоминаниям Гольденвейзера, поставил диагноз Москве двадцатого века: «Люди здесь так же изуродованы, как природа». А вот андреевский памятник Гоголю, что стоял тогда в начале одноименного бульвара, Толстой похвалил: «Мне нравится: очень значительное лицо».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.